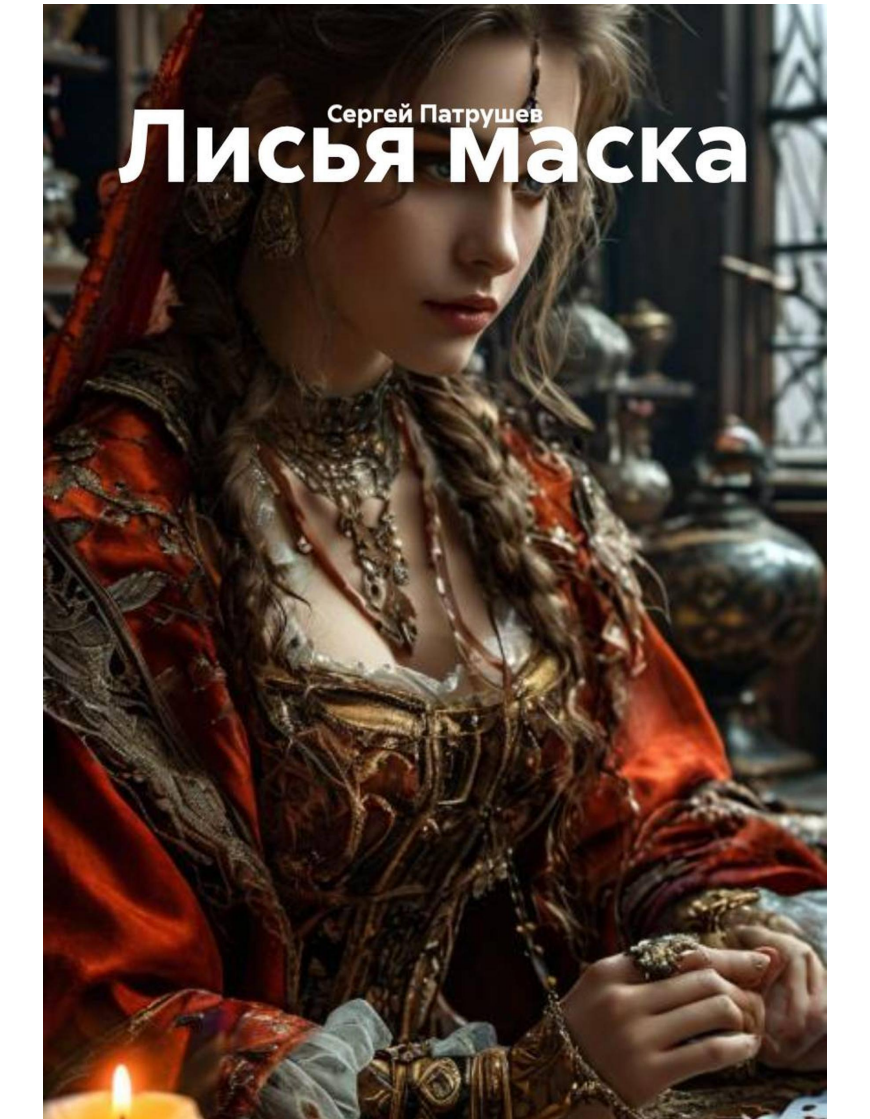




Сергей Патрушев

# Лисья маска

# Сергей Патрушев

## Лисья маска

<https://litres.ru/73797427>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Юная гадалка девушка с маской, скрывающая своё прошлое, живёт на чердаке среди алхимических реторт и пучков заговоренных трав. Однажды ночью к ней приходит таинственная гостья, укутанная в дорожный плащ. Это Императрица — правительница огромных земель, чьё слово способно вершить судьбы мира. Она жаждет простого женского счастья, но боится признаться в этом даже себе. Раскладывая карты, Лиса видит не только будущее монархини, полное политических бурь и интриг, но и её израненную одиночеством душу.

Лиса становится для Императрицы и наставницей, и искушением, и единственным спасением от ледяной пустоты трона. Пройдя через падение в бездну порока, очищение в храме, обретение магии света и всепоглощающую любовь к Императору Восточной Империи, правительница наконец познаёт истинную цену власти. Но когда у неё рождается дочь Элиана, унаследовавшая стальной характер отца и древнюю силу матери, ставки возрастают.

# Сергей Патрушев

## Лисья маска

### Глава первая

Огонь в очаге давно угас, оставив после себя лишь горстку сизого пепла, пахнущего горечью сожженных полынных стеблей, но в комнате царила иная, более древняя духота — ее источали развешанные под потолочными балками пучки трав. Сушеный зверобой, истекающий последними каплями запертого летнего солнца, переплетался с седыми метелками полыни и тяжелыми, словно налитыми свинцом, коробочками белены, которую Лиса собирала только в полнолуние на пустырях за городской стеной. Воздух здесь был густым, почти съедобным, он обволакивал горло сладковатой отравой и легким мороком, от которого непривычному человеку начинало казаться, будто тени в углах шевелятся, а отблески свечного пламени на медных алхимических ретортах складываются в гримасы неведомых тварей. На столе, покрытом льняной скатертью, заляпанной воском и пятнами от крепкого травяного настоя, который Лиса заваривала для ясновидения, стояла толстая свеча из черного пчелиного воска. Ее фитиль был скручен из нитей, вымоченных в растворе селитры и толченого мухомора, и пламя от него получалось неровное, высокое, временами выстреливающее вверх зеле-

новатым язычком и наполняющее пространство едким, потусторонним дымком, который оседал на легких тончайшим слоем сонной одури. Лиса сидела на низкой скамеечке, ее босые ступни упирались в холодные доски пола, а пальцы правой руки неспешно перебирали колоду, засаленную от тысяч прикосновений. Карты пахли анисом и немного плесенью, но в этом запахе и крылась их сила, ибо анис заговорен на ясный ум, а плесень на тление времени, над которым они были властны.

Напротив, в простом кресле, обитом потертым рытым бархатом, цвет которого угадывался лишь в глубоких складках как остатки винного пурпура, сидела Женщина. Императрица. И если бы не тяжесть этого титула, незримо давившая на плечи, Лиса могла бы принять ее за богатую купчиху, стремящуюся узнать судьбу пропавшего каравана с шелком. Плащ ее был из добротного, но грубого сукна, подбитого снизу лисьим мехом, однако стоило ткани чуть разойтись на груди, как в свете зеленого свечного сполоха сверкнула невероятной работы фибула в виде золотой пчелы, усыпанной гранатами, и Лиса поняла — перед ней та, чей указ заставляет двигаться легионы и чье молчание способно обрушить цены на зерно в десяти провинциях разом. Но пришла она, оставив где-то внизу, у подножия шаткой лестницы, дюжину вооруженных людей, затаив дыхание стерегущих этот ветхий дом, пришла с одним простым словом на устах —

«любовь». Однако Лиса была не просто гадалкой, она была алхимиком духа, и слово, слетевшее с губ гостьи, она взвесила на своих внутренних весах и нашла его вес на несколько унций легче положенного. Любовь. Для Императрицы любовь — это не трепет сердца при виде избранника, это государственная стратегия, облеченная в плоть и кровь династического брака. И Лиса не ошиблась, ибо в следующее мгновение, стоило ей попросить гостью коснуться колоды, та сделала это не как женщина, тоскующая по мужчине, а как полководец, кладущий руку на карту перед штурмом вражеской крепости.

Лиса сдвинула верхнюю карту, и из-под шершавого прямоугольника на свет выплыла Императрица, но не та, что сидела напротив, а ее архетип с картинки. Женщина на карте восседала в кресле, увитом зрелыми колосьями пшеницы и цветами, но Лиса смотрела не на рисунок, а на густую черную свечу, огонь которой вдруг затрещал и выбросил в воздух целый сноп золотистых искр, тут же впитавшихся в сухие листья душицы, подвешенные над столом. Запахло нагретым медом и горячей землей. Она заговорила, и голос ее звучал глухо, словно из-под толщи воды. Она поведала о правлении, но не так, как поют об этом придворные менестрели, и не так, как докладывают советники в высоких палатах. Она говорила о правлении как об алхимическом Великом Делании. Трон, который гостья занимает, есть Атанор — печь для

трансмутации, где душа правителя, помещенная в реторту из человеческой плоти, медленно вываривается, отдавая свою живую влагу во имя процветания черни и золота. Империя будет стоять, пока длится это выпаривание, пока ее корни, словно корни мандрагоры, питаются не водой, но тихими, безмолвными страданиями той, что сидит на вершине. Политика, продолжила Лиса, переворачивая следующую карту (это оказалась Колесница, и лошади на ней, казалось, ожили в колеблющемся пламени, дернув головами), предстанет перед ней лабиринтом, но не каменным, а сотканным из дыма курящихся благовоний и яда, подсыпаемого в вино на званных ужинах. Карта говорила о победе, но победа эта будет добыта не железом, а той странной алхимической серой, что в политике зовется компромиссом и предательством. Она победит, но для этого ей придется стать холодным змеевиком алхимической колбы, конденсирующим пар чужих амбиций в яд для своих врагов и лекарство для государства. В этот момент Императрица чуть шевельнулась, и в складках ее плаща прошелестел пепел сгоревшего зверобоя, напоминая о том, что даже императорская мантия соткана из той же пряжи бытия, что и рубище последнего нищего.

Затем Лиса замерла. Ее рука застыла над колодой, словно наткнувшись на невидимую стену из раскаленного воздуха. Она почувствовала этот момент внутренностями, так же безошибочно, как чуяла готовность философского отвара в

перегонном кубе, стоящем в углу, когда смесь переставала бурлить и начинала петь тонким, змеиным шепотом. Она перевернула карту, и из груди ее вырвался вздох, смешавшийся с шипением упавшей в чашу с водой крупинки каленой соли. Отшельник. Но не просто старик с фонарем, а фигура, подсвеченная снизу багровым огнем из печи, где Лиса накануне обжигала глиняные тигли для будущих опытов. И в этом алом свете посох Отшельника превращался в жезл, а его усталое лицо становилось лицом той, что сидела напротив, лишенным косметики и золотых украшений. В комнате вдруг резко и горько запахло той травой, что Лиса хранила в отдельной шкатулке из черного ореха, — рутой, травой скорби и уединения. Императрица сидела неподвижно, но Лиса видела, как дрогнула тонкая жилка на ее виске, как единственный раз сбилось с ритма ее дыхание, и поняла, что слова достигли цели быстрее и точнее любой отравы.

Смысла жизни в том, чем она занимается, нет, сказала Лиса безжалостно, потому что смысл существует лишь в поиске, в алхимической погоне за ускользающим философским камнем, а камень этот при ближайшем рассмотрении оказывается простым булыжником, лишь на краткий миг озаренным светом человеческой веры в чудо. Все, что она строит, — это хрустальный дворец на вершине горы, прекрасный для тех, кто смотрит из долины, и продуваемый всеми ледяными ветрами для той, кто вынуждена в нем жить. Любовь

же, которую она искала, есть эликсир, но его не разлить в золотые кубки и не скрепить императорской печатью. Это живая вода, что бьет ключом лишь из трещин в простой, неотесанной скале, а не из отшлифованного мрамора. Ее правление, ее политика, ее империя — все это ступки и пестики, в которых перетирается в пыль ее собственная душа, и пыль эта ветром времени разносится по полям, делая их плодородными, но оставляя ее саму полой и звонкой, словно пустой глиняный горшок. Лиса замолчала, и в тот же миг огонь черной свечи, выстрелив напоследок длинной струей зеленого дыма, погас, оставив их в полной, крошечной темноте, наполненной лишь запахом руты, полыни и нагретой глины. И в этой тьме послышался шорох тяжелых юбок, встающих с кресла, и ровный, гулкий стук каблучков по деревянному полу, удаляющийся в сторону двери. Императрица уходила, не проронив больше ни слова, но Лиса знала — оставленный ею в комнате воздух, настоящий на травах, огне и правде, будет сниться ей до конца ее бесконечного, золотого и страшно одинокого правления.

Песок посыпался тонкой, почти неслышной струйкой, но в той звенящей тишине, что осталась после ухода Императрицы и после того, как погасла черная свеча, этот звук показался Лисе грохотом обвала в горах. Она не видела ничего — тьма в комнате стояла плотная, как остывшая смола в алхимическом перегонном кубе, вязкая и непроглядная, но

она точно знала, откуда исходит звук. Над дверным косяком, среди пучков засушенного чертополоха и корней аира, которые она развесила там еще в прошлое новолуние для защиты от дурного глаза завистливых соседок, висел небольшой холщовый мешочек. Он был сшит из небеленого льна и перевязан красной шерстяной нитью, вымоченной в отваре из ягод бузины и собственной слюны, как того требовал старый бабушкин заговор, который Лиса помнила наизусть, но смысл его постигла лишь теперь. Мешочек этот висел уже много месяцев, неподвижный и молчаливый, набитый мелким речным песком, который Лиса собственноручно набрала на отмели в том месте, где река делала крутой изгиб и вода там всегда была черной и ледяной, даже в самый жаркий полдень. Песок тот был не простой — она прокалила его в тигле вместе с толченым янтарем и сушеными лепестками бессмертника, а после остудила под светом убывающей луны, и он стал похож не на земную породу, а на растертые в пыль осколки звезд, тускло мерцающие, если смотреть на них искоса.

И теперь этот песок сыпался. Ткань мешочка, казавшаяся такой прочной, истончилась в одном месте, словно ее проела невидимая кислота или же само время, накопившееся в складках бытия, нашло наконец выход. Струйка была тонкой, как паутинка, но неумолимой. Песчинки падали на дощатый пол, и каждая из них, ударяясь о дерево, издавала

тихий, сухой щелчок, похожий на треск ломающегося льда где-то глубоко под землей. Лиса не шевелилась. Она сидела в своем кресле, вцепившись побелевшими пальцами в край стола, и слушала этот звук, потому что знала — это знак. Не просто знак, а ответ на тот вопрос, который Императрица так и не осмелилась произнести вслух, но который висел в спертom, травяном воздухе комнаты гуще, чем дым от погасшей свечи. Вопрос о том, что ждет ее за порогом этой ночи, когда она вернется во дворец, когда снимет тяжелый дорожный плащ и останется одна в своей огромной спальне, где даже мыши не смеют скрестись из уважения к ее титулу. Песок сыпался, и в этом падении Лиса читала судьбу, как другие читают по звездным картам или по внутренностям жертвенных голубей.

Сначала песчинки падали ровно, размеренно, словно отсчитывая удары невидимого сердца, и Лиса увидела мысленным взором, как Императрица спускается по шаткой лестнице. Ступени скрипят под ее весом, но она не замечает этого, потому что мысли ее все еще здесь, в этой прокуренной травмами каморке, среди алхимических реторт и заговоренных карт. Песок все сыпался, и ритм его вдруг сбился, словно сердце пропустило удар, и Лиса поняла — Императрица остановилась на середине лестницы. Она стоит в полной темноте, между небом и землей, между своей империей и этой лачугой, и в ее голове звучат слова об Отшельнике, о пустоте

трона, о любви, которая невозможна. А потом песок посыпался быстрее, с каким-то лихорадочным, отчаянным шорохом, и Лиса вздрогнула, потому что этот звук был ей знаком. Так шуршит песок в часах, когда время подходит к концу, когда последние крупинцы утекают сквозь узкое горлышко, и ничто уже не может их остановить. Это был не просто знак, это было предупреждение, и адресовано оно было не Императрице, а ей самой.

В тот же миг, когда последняя песчинка упала на пол и в комнате снова воцарилась тишина, но уже другая — насто-роженная, затаившая дыхание, — Лиса почувствовала, как по ее босой ступне, упирающейся в холодную доску, что-то поползло. Нечто тонкое, сухое и шершавое. Она не закричала, потому что кричать было не в ее природе, но медленно, очень медленно опустила взгляд вниз, хотя в темноте все равно ничего не могла разглядеть. Это был стебель. Из щели между половицами, туда, куда упали песчинки, пробился тонкий, бледный росток. Он был почти прозрачный, лишенный хлорофилла, словно вырос не из земли, а из самой тьмы, и тянулся вверх, извиваясь, как слепой червь, ищущий свет. Но света не было. Лиса смотрела на него, не дыша, и вдруг росток дернулся, набух на конце и с тихим, влажным треском раскрылся крошечным, уродливым цветком, в котором она с ужасом и каким-то странным, болезненным восторгом узнала цветок белены — бледно-желтый, с фиолетовы-

ми прожилками, источающий сладковатый, тошнотворный аромат, от которого у обычного человека начинаются видения, а у таких, как Лиса, открывается внутреннее зрение. И в этом зрении она увидела последнее: песок, упавший с косяка, был не просто песком. Это был прах. Прах всех тех решений, которые Императрица еще не приняла, но уже приняла в каком-то ином, неведомом слое бытия. Прах ее любви, ее правления, ее политики и ее смысла жизни, смешанный в единую, неразделимую алхимическую субстанцию, из которой, как из философского камня, произрастет либо яд, либо лекарство. И выбор этот зависел не от Лисы, не от карт и даже не от самой Императрицы. Выбор этот уже был сделан где-то там, за гранью, куда не доставал даже свет самой яркой свечи. Цветок белены медленно покачивался на тонком стебле, и Лиса, наконец, закрыла глаза, понимая, что это только начало.

Цветок белены медленно покачивался на тонком, почти прозрачном стебле, источая сладковатый, тошнотворный аромат, от которого у Лисы начинало мутиться в голове, а перед глазами плыли радужные круги, но она не отводила взгляда. Она смотрела на это бледное, болезненное создание тьмы и понимала, что сегодняшняя ночь переломила что-то в самом устройстве ее маленького, тщательно выстроенного мира, где все было на своих местах — травы в пучках, карты в колоде, секреты под замком. Росток, пробившийся из

щели между разошедшимися половицами, питался не водой и не землей, а тем, что упало сверху, — прахом знака, песком, который она своими руками прокаливала в тигле с янтарем и бессмертником, даже не догадываясь тогда, для чего на самом деле готовит этот странный, мерцающий в лунном свете состав. Теперь она знала. Этот песок был якорем, страховочной нитью, протянутой между миром явным и миром тeneвым, и порвалась эта нить именно в тот момент, когда Императрица, спускаясь по скрипучей лестнице, на мгновение остановилась и подумала о ней. Не о картах, не о предсказании, а о ней — о девушке с лисьим взглядом, которая посмела говорить с ней как с равной, как со смертной, как с женщиной, чья душа так же уязвима для одиночества, как и душа любой крестьянки, выплакивающей свои горести в подушку, набитую соломой.

Лиса медленно поднялась со скамеечки, чувствуя, как затекли ноги от долгого сидения в неудобной позе, и босыми ступнями ступила на холодные доски, стараясь не задеть росток белены. Тот дрогнул, словно почувствовав ее близость, и повернул свою уродливую головку в ее сторону, как подсолнух тянется к солнцу, только солнцем для него была сама Лиса, вернее, то тепло, что исходило от ее живого, смертного тела. Она подошла к двери, возле которой на полу все еще лежала горстка песка, тускло поблескивающая в той крошечной тьме, что воцарилась в комнате после угасания свечи,

и опустилась на корточки. Пальцы ее коснулись рассыпанных крупиц, и она вздрогнула — песок был ледяным, неестественно холодным, словно его только что достали из погребца, где хранят лед, наколотый на замерзшей реке посреди зимы. И в этом холоде она почувствовала отголосок того, что только что произошло. Императрица ушла, но что-то от нее осталось здесь, в этом песке, в этом ростке, в самом воздухе, пропитанном запахом руты и полыни. Что-то тяжелое, темное и опасное, как неразорвавшийся снаряд, какие Лиса видела однажды в детстве, когда проезжала с бродячим цирком через земли, разоренные войной. И это что-то требовало ответа, требовало действия, требовало продолжения истории, которая, как она думала, закончилась вместе с хлопком двери за спиной высокой гостью.

Она выпрямилась, отряхнула пальцы от песка и прошла в дальний угол комнаты, туда, где на грубо сколоченном стеллаже, среди пузатых бутылей из темного стекла и глиняных горшков с засушенными кореньями, стояла небольшая шкапулка. Она была сделана из мореного дуба, потемневшего от времени и дыма, и закрывалась на хитрый замок, ключ от которого Лиса всегда носила на шее, на простом кожаном шнурке, запрятанном под ворот платья. Она достала ключ, вставила его в скважину и повернула, чувствуя, как внутри механизма что-то щелкает с тихим, металлическим вздохом. Крышка откинулась, и в нос ей ударил сложный, мно-

гогранный аромат — смесь сушеных трав, старой бумаги и чего-то еще, неуловимого, что она сама называла запахом тайны. В шкатулке, на ложе из выцветшего бархата, лежали самые ценные ее сокровища, собранные за годы странствий и ученичества у тех, кого в разных землях называли по-разному — знахарками, ведуньями, алхимиками, а то и просто сумасшедшими старухами. Здесь были корень мандрагоры, завернутый в шелковый платок, пузырек с жидкостью, которая светилась в темноте бледно-голубым светом, пара засушенных летучих мышей и многое другое, что могло бы испугать обывателя, но для Лисы было привычнее, чем ложка и миска. Но сейчас ее интересовало другое. На самом дне шкатулки, под ворохом исписанных мелким, убористым почерком листков, лежал предмет, который она не доставала уже много лет, с того самого дня, как осела в этом городе и стала той, кем ее знали местные жители — Лисой, гадалкой с чердака, странной девушкой, которая слишком много знает и слишком мало говорит.

Это была маска. Простая, грубо вырезанная из цельного куска липовой коры, она изображала лисью морду — с острыми ушами, вытянутой пастью и узкими прорезями для глаз. Когда-то давно, в другой жизни, которую она предпочла забыть, но которая нет-нет да и напоминала о себе в кошмарных снах, эта маска была ее лицом. Не в прямом смысле, конечно, а в том, переносном, что важнее любого прямого.

Лиса — это не имя. Имя у нее было другое, данное матерью при рождении и записанное в какой-то церковной книге в далеком, пыльном городишке, которого она уже и не помнила толком. Лиса — это ник. Кличка, прозвище, маска, которую она надела на себя, как надевают старый, удобный плащ, чтобы спрятать под ним не только тело, но и душу, и прошлое, и будущее. Никто в этом городе, да и во всем королевстве, не знал ее настоящего имени. Даже те, кто приходил к ней за советом и раскладом, кто платил медяки и серебро за крупички истины, разбавленные туманом иносказаний, не знали, кто она на самом деле. Она была просто Лисой. Лиса с чердака. Лиса, которая говорит с картами. Лиса, чей взгляд пронзает насквозь и чьи травы лечат, а иногда, по слухам, и калечат. И это ее более чем устраивало, потому что имя — это власть над человеком, а она не собиралась давать никому такой власти над собой. Даже Императрице, которая, сама того не ведая, оставила в ее комнате не только горсть холодного песка и росток белены, но и нечто гораздо более опасное — свое внимание.

Лиса взяла маску в руки. Дерево было теплым на ощупь, словно хранило жар ее собственного лица с тех давних, полузабытых времен, когда она носила ее, не снимая, долгими днями и ночами, скрываясь от погони или, наоборот, следуя добычу. Она поднесла маску к лицу, вдохнула слабый, едва уловимый запах липового цвета и старого пота, и на

мгновение ей показалось, что она снова там — в прошлом, которое не отпускает, как бы далеко она ни убежала. Но это был лишь миг, слабость, которую она тут же подавила усилием воли. Она опустила маску и посмотрела на росток белены, который продолжал покачиваться в центре комнаты, словно маятник, отсчитывающий не время, а нечто иное. И тут она поняла. Императрица, сама того не желая, нарушила ее покой, вскрыла ту рану, которую Лиса так тщательно залечивала годами тишины и одиночества. Она пришла с вопросом о любви, а ушла, унося с собой знание, которое не должно было покидать стен этой комнаты. И теперь, когда песок упал, а росток пророс, обратного пути не было. История началась, и она, Лиса, была вписана в нее не как сторонний наблюдатель, не как простая гадалка, а как полноценный участник. И единственный способ защитить себя, свою тайну, свое имя, которого никто не знал, — это снова надеть маску. Не буквально, не сейчас, но быть готовой к тому, что мир за стенами ее чердака, мир политики, интриг и опасных связей, в который она так неосторожно заглянула, раскладывая карты для той, что держит в руках судьбу империи, может постучаться в ее дверь в любой момент. И когда это случится, она должна встретить его не как испуганная девушка, чье имя забыто, а как Лиса — хитрая, быстрая, неуловимая и смертельно опасная для тех, кто посмеет за ней охотиться.

## Глава вторая

Императрица вернулась через три дня. Лиса знала, что так будет, с того самого мгновения, как последняя песчинка упала на пол, а из щели между половицами пробился бледный росток белены, который она так и не решилась вырвать, оставив его расти в темноте, питаясь лишь холодным воздухом и отголосками той странной ночи. Росток за три дня вытянулся, окреп, приобрел болезненный, но упрямый вид, и Лиса, просыпаясь каждое утро на своем узком топчане, застеленном грубым одеялом, первым делом смотрела на него, словно сверяясь с живым барометром. Он был ее компасом, ее связью с той, что ушла, но не ушла до конца, оставив в этой прокуренной травами каморке часть своей души, сама того не желая и даже не подозревая. И когда на третий день, ближе к полуночи, в дверь снова постучали — не властно, не требовательно, а как-то неуверенно, словно стучавший сам сомневался в своем праве здесь находиться, — Лиса уже ждала. Она сидела за столом, перебирая четки из сушеных ягод боярышника, и даже не вздрогнула, услышав этот тихий, почти извиняющийся стук. Она поднялась, поправила платок на плечах, подошла к двери и отворила ее без лишних вопросов, заранее зная, кого увидит на пороге.

Императрица стояла перед ней, но это была уже не та женщина, что приходила три дня назад. Тогда, в первую встречу, она держалась как правительница, даже спрятанная под

грубым дорожным плащом, даже в этой убогой обстановке, где все кричало о бедности и простоте. Ее спина была прямой, подбородок вздернут, а взгляд — острым и оценивающим, как у полководца перед битвой. Теперь же перед Лисой стояла женщина, в чьих глазах читалось нечто иное. Не страх, нет, страх был ей неведом по определению, ибо она с детства привыкла к мысли, что бояться должны ее, а не она. Но в этих глазах, обрамленных тонкой сеточкой морщин, которые не мог скрыть даже искусный грим, появилось нечто, что Лиса распознала сразу, ибо видела это сотни раз в глазах тех, кто приходил к ней за советом. Голод. Не телесный, не тот, что утоляют хлебом и вином, а иной, глубинный, духовный голод, который гложет человека изнутри, заставляя его искать ответы на вопросы, которые он даже не осмеливается произнести вслух. Императрица пришла снова, и на этот раз она не спрашивала о любви, о правлении или о политике. Она пришла просто слушать. Слушать голос Лисы, который за эти три дня звучал в ее голове громче, чем голоса всех советников, вместе взятых.

Она вошла, уже не дожидаясь приглашения, но вошла не как хозяйка, а как гостья, робеющая перед порогом, и Лиса заметила, как дрогнули ее пальцы, когда она откинула капюшон плаща, явив миру простое, почти крестьянское платье без единого украшения, словно она нарочно сняла с себя все знаки власти, чтобы предстать перед гадалкой обнаженной,

уязвимой, смертной. Лиса молча указала ей на то же кресло, обитое потертым рытым бархатом, и Императрица села, но не так, как в прошлый раз — величественно и прямо, а как-то иначе, чуть подавшись вперед, словно стремясь стать ближе, впитать в себя каждое слово, каждый жест, каждый вздох той, что сидела напротив. В комнате снова горела свеча, на этот раз из простого желтого воска, и пламя ее было ровным, спокойным, не выстреливало зелеными искрами, не наполняло воздух потусторонним дымком. Лиса нарочно выбрала эту свечу, чтобы не будоражить пространство, чтобы оставить его чистым, нейтральным, готовым принять то, что должно было произойти. А произойти должно было нечто такое, чего она сама до конца не понимала, но что чувствовала всем своим существом, каждой клеточкой кожи, каждым волоском на затылке.

Императрица заговорила первой, и голос ее звучал глухо, словно она долго молчала перед этим, боясь нарушить тишину собственных покоев. Она сказала, что не может выбросить из головы слова, услышанные здесь три дня назад. Что они преследуют ее днем, когда она принимает послов и подписывает указы, и ночью, когда она лежит в своей огромной постели, глядя в темноту и слушая, как ветер гудит в печных трубах. Что она пыталась забыть, пыталась отмахнуться, убедить себя, что это всего лишь бред безумной гадалки с чердака, но не смогла. Потому что в этих словах была

правда, которую она искала всю свою жизнь, но никогда не находила, потому что никто не смел говорить с ней так, как говорила Лиса. Никто не смел смотреть на нее и видеть не императорскую мантию, не корону, не власть, а ее саму — женщину из плоти и крови, с теми же страхами, сомнениями и желаниями, что и у любой другой. И теперь, сказала она, ее тянет сюда, как мотылька тянет на пламя свечи, и она знает, что может обжечься, но ничего не может с собой поделать. Она хочет слушать. Хочет, чтобы Лиса говорила с ней снова и снова, о чем угодно, хоть о картах, хоть о травах, хоть о звездах, хоть о той пустоте, что зияет внутри каждого человека, но особенно остро — внутри того, кто носит корону.

Лиса слушала ее молча, не перебивая, и в груди у нее росло странное, незнакомое прежде чувство. Это не было состраданием, ибо Лиса давно научилась отгораживаться от чужих страданий невидимой стеной, чтобы не сгореть дотла в огне чужих судеб. Это не было и любопытством, ибо любопытство она удовлетворила еще в первую встречу, заглянув в душу Императрицы глубже, чем та сама когда-либо заглядывала. Это было нечто иное, более темное и более опасное. Это было осознание власти. Не той власти, что дается короной, армией и золотой казной, а иной, более тонкой, более глубинной власти, которая возникает, когда один человек добровольно открывает свою душу другому и вкладывает в его руки ключи от самых потаенных своих покоев. Им-

ператрица, сама того не сознавая, сделала именно это. Она пришла сюда не за советом и не за предсказанием. Она пришла, чтобы подчиниться. Чтобы найти того, кто скажет ей, что делать, кто возьмет на себя груз ее решений, кто станет ее компасом в том лабиринте из дыма и яда, который она называла политикой. И Лиса, глядя в эти голодные, ищущие глаза, поняла, что может стать этим компасом. Может взять эту женщину, облаченную в невидимую мантию абсолютной власти над миллионами, и повести ее за собой, как ведут на поводу самого дорогого скакуна.

Она заговорила, и голос ее был тихим, ровным, как течение глубокой реки. Она не стала спрашивать, чего именно хочет Императрица, потому что ответ был очевиден. Она просто начала говорить. О картах, которые раскладывала сегодня утром, гадая сама себе и видя в них смутные образы грядущих перемен. О травах, которые сушились под потолком, и о том, как каждая из них поет свою ноту в великой симфонии алхимического делания. О звездах, чей свет идет до земли тысячи лет, и о том, что человеческая жизнь по сравнению с этим светом — лишь вспышка, мгновение, но в этом мгновении заключена целая вечность для того, кто умеет ее видеть. Императрица слушала, затаив дыхание. Ее руки, лежавшие на коленях, расслабились, плечи опустились, а взгляд стал мягким, почти детским, словно она впервые за долгие годы позволила себе не быть правительницей, а про-

сто быть. Лиса видела это и чувствовала, как между ними протягивается невидимая нить, тонкая, но прочная, словно паутина, сплетенная из лунного света. И нить эта шла от Лисы к Императрице, и по ней текло нечто, чему Лиса не могла подобрать названия. Контроль? Влияние? Власть? Все эти слова были слишком грубыми, слишком земными для того, что происходило в этой прокуренной травмами камерке под самой крышей. Это было похоже на алхимическую реакцию, когда два вещества, казалось бы, несовместимые, вдруг вступают в соединение и рожают нечто третье, доселе невиданное.

Лиса поднялась со своего места, обошла стол и встала за спиной Императрицы. Та не шелохнулась, не повернула головы, только чуть заметно вздрогнула, когда Лиса положила ладони на ее плечи, поверх грубой ткани платья. Плечи были напряжены, но под прикосновением Лисы напряжение начало уходить, медленно, неохотно, как лед тает под лучами весеннего солнца. Лиса молчала, но ее руки говорили громче всяких слов. Они говорили о том, что она здесь, что она держит, что она не отпустит. И Императрица, великая правительница, чье слово было законом для миллионов, закрыла глаза и позволила себе раствориться в этом простом, почти примитивном жесте. Она позволила себе быть ведомой. Позволила себе перестать думать, перестать решать, перестать нести на своих плечах тяжесть империи. Хотя бы на

этот краткий миг, в этой темной комнате, где пахло полыньей и воском, она была не Императрицей. Она была просто женщиной, которая нашла того, кому может довериться. А Лиса стояла за ее спиной, смотрела на склоненную голову, на тонкую шею, на которой еще виднелся след от тяжелой парадной диадемы, и понимала, что игра началась. Игра, ставки в которой были выше, чем она могла себе представить. Она, девушка без имени, скрывающая свое прошлое под лисьей маской, теперь держала в своих руках нечто большее, чем просто судьбу одной женщины. Она держала в своих руках судьбу империи, сама того еще до конца не осознавая. Но осознание это придет. Всему свое время. А пока она просто стояла, вдыхала запах волос Императрицы, в котором дорогие благовония смешивались с чем-то простым, почти человеческим, и слушала, как в тишине комнаты бьется ее собственное сердце и сердце той, что добровольно отдала себя в ее власть.

Дни потекли иначе, чем прежде, словно само время изменило свою природу, подстроившись под новый ритм, заданный этими ночными визитами. Императрица приходила снова и снова, сначала раз в несколько дней, потом через день, а потом и каждую ночь, едва за горизонтом гас последний луч солнца и город окутывала та особая, вязкая тьма, в которой так легко затеряться даже тому, чье лицо знает каждый чеканщик монет. Она пробиралась через черный ход, оставляя

стражу далеко позади, у фонтана на площади, и поднималась по скрипучей лестнице, с каждым шагом сбрасывая с себя груз империи, словно змея сбрасывает старую кожу. И Лиса каждый раз ждала ее, сидя за своим столом, заваленным картами, травами и алхимическими склянками, и в груди у нее росло странное, тревожное и одновременно пьянящее чувство, похожее на то, какое испытывает охотник, наблюдая, как дичь сама идет в расставленные силки, не в силах сопротивляться зову, природу которого даже не понимает.

Зависимость Императрицы от этих ночных бдений стала очевидной и пугающей в своей стремительности. Она, привыкшая повелевать, отдавать приказы и видеть, как мир прогибается под ее волю, теперь сама прогнулась под волю другого человека, и этот человек сидел перед ней в простом льняном платье, с растрепанными волосами, пахнущими дымом и шалфеем. Она требовала все новых и новых раскладов, и Лиса, видя этот голод в ее глазах, не отказывала. Она раскладывала карты снова и снова, рассказывая о том, что ждет империю в грядущие месяцы, о заговорах, зреющих в тени трона, о союзниках, которые станут врагами, и о врагах, которые, сами того не ведая, послужат ее величию. Императрица слушала, затаив дыхание, подавшись всем телом вперед, так что край ее плаща волочился по пыльному полу, а пальцы, унизанные перстнями, которые она забывала снять перед визитом, впивались в подлокотники старого кресла,

оставляя на рытом бархате едва заметные вмятины. Она впитывала каждое слово Лисы, как сухая земля впитывает долгожданный дождь, и когда предсказание заканчивалось, она просила еще. Еще один расклад. Еще одну карту. Еще один взгляд в ту бездну, что открывалась перед ней всякий раз, когда Лиса переворачивала очередной прямоугольник с выцветшим рисунком. И Лиса давала ей это, понимая, что с каждым разом нить, связывающая их, становится все толще, все прочнее, все неразрывнее.

Однажды ночью, когда за окном бушевала гроза и струи дождя хлестали по черепичной крыше, создавая оглушительный шум, в котором тонули все остальные звуки, Императрица пришла особенно взволнованная. Ее щеки горели лихорадочным румянцем, глаза блестели в свете свечи, а дыхание было прерывистым, словно она бежала сюда через весь город, хотя на самом деле ее, как всегда, доставил не приметный экипаж без гербов. Она села в кресло, но тут же вскочила, прошла по тесной комнате, едва не задев головой свисающие с потолка пучки сушеной полыни, и снова села, нервно комкая в руках край плаща. Лиса молча наблюдала за ней, не торопясь начинать расклад, и в этом молчании было что-то гипнотическое, что-то, что заставляло Императрицу нервничать еще больше и одновременно успокаивало ее, как успокаивает взгляд змеи свою жертву перед последним, решающим броском. Наконец Императрица не вы-

держала. Она подалась вперед, схватила Лису за руку, и прикосновение это было горячим, почти обжигающим, словно внутри этой женщины, привыкшей к холоду тронных залов, вдруг проснулся вулкан, дремавший долгие годы. Она сказала, что не может больше ждать. Что все эти дни, все эти ночи она думает только о ней, о Лисе, о ее голосе, о ее руках, о том, как она перебирает карты, как поправляет выбившуюся прядь волос, как смотрит на огонь свечи, и в этом взгляде читается что-то такое, чего она, Императрица, никогда не видела ни у кого из своих придворных. Она сказала, что готова отдать все свои земли, все свои богатства, всю свою власть за одно лишь слово, за один лишь взгляд, за одно лишь прикосновение. И голос ее дрожал, срывался, в нем звучала такая неприкрытая, такая отчаянная мольба, что даже Лиса, привыкшая к чужим излияниям, на мгновение замерла, пораженная глубиной этого падения.

А потом Императрица подалась еще ближе, и Лиса почувствовала ее дыхание на своем лице, горячее, пахнущее мятой и дорогим вином, которое та, видимо, пила перед выходом, чтобы притупить страх и стыд. Расстояние между ними сократилось до нескольких дюймов, и в этом крошечном пространстве, наполненном запахом трав, воска и грозового воздуха, просачивающегося сквозь щели в старой крыше, произошло нечто, чего Лиса не ожидала, но к чему, как она поняла задним числом, все и шло с самого первого визита.

Императрица поцеловала ее. Это был не властный, не требовательный поцелуй, какой можно было бы ожидать от женщины, привыкшей брать все, что она пожелает. Это был поцелуй робкий, неуверенный, почти испуганный, словно она сама не до конца верила в то, что делает, и в то же время не могла остановиться, не могла противиться той силе, что толкала ее вперед. Ее губы были мягкими, горячими и слегка дрожали, и в этом дрожании Лиса прочитала всю историю ее одиночества, всю ту бездну холода, в которой она существовала долгие годы, окруженная льстецами и интриганами, но лишенная простого человеческого тепла. Лиса не отстранилась. Она позволила этому поцелую случиться, позволила ему длиться ровно столько, сколько нужно было, чтобы Императрица успела почувствовать вкус ее губ — вкус травяного настоя, которым Лиса полоскала рот по утрам, горьковатый и терпкий, как сама ее суть.

Когда Императрица наконец отстранилась, ее глаза были полны слез, а губы дрожали еще сильнее, чем прежде. Она смотрела на Лису с таким выражением, с каким верующий смотрит на икону, — с обожанием, страхом и надеждой, смешанными в один неразборчивый, но оглушительно громкий аккорд. Она прошептала что-то, что Лиса не разобрала из-за шума дождя, но смысл был ясен и без слов. Она была влюблена. Не в ту Лису, которую знал город — загадочную гадалку с чердака, умеющую читать по картам и варить приворот-

ные зелья. Она была влюблена в ту, кого увидела за этими картами, за этими травами, за этими алхимическими склянками. В женщину, которая говорила с ней как с равной, которая не боялась ее гнева и не искала ее милости, которая смотрела сквозь нее и видела то, что она сама в себе давно похоронила. И Лиса, глядя в эти заплаканные, сияющие глаза, вдруг поняла, что и сама чувствует нечто, чему не могла подобрать названия. Это не было любовью в том смысле, в каком это слово понимают поэты и менестрели, слагающие баллады о прекрасных дамах и отважных рыцарях. Это было нечто иное, более сложное, более темное и более опасное. Это было чувство абсолютной, ничем не ограниченной власти, но власти, приправленной странной, извращенной нежностью. Она держала в своих руках сердце самой могущественной женщины империи, и это сердце билось в ее ладонях, теплое, живое, уязвимое, полностью ей подвластное. И она могла сделать с ним все, что угодно. Могла сжать до хруста, и империя погрузилась бы в хаос. Могла отпустить, и империя продолжала бы свой путь, но уже под ее, Лисы, незримым руководством. Могла принять эту любовь, впустить ее в себя и посмотреть, что из этого вырастет.

Лиса медленно подняла руку и коснулась щеки Императрицы, стирая большим пальцем одинокую слезу, скатившуюся по гладкой, ухоженной коже. Прикосновение было легким, почти невесомым, но Императрица вздрогнула так,

словно ее ударило током, и прикрыла глаза, подставляя лицо под эту ласку, как кошка подставляет голову под руку хозяйна. В этот миг Лиса приняла решение. Она не оттолкнет эту любовь, но и не растворится в ней. Она примет ее как инструмент, как ключ, как алхимический ингредиент, который, будучи добавленным в нужный момент в нужную реторту, способен превратить свинец обыденности в золото абсолютной власти. Она наклонилась и поцеловала Императрицу в лоб, туда, где под кожей билась голубая жилка, и поцелуй этот был не ответом на страсть, а печатью, скрепляющей договор, условия которого Императрица даже не осознавала. Гроза за окном начала стихать, дождь уже не хлестал с прежней яростью, а лишь тихо шелестел по крыше, словно убаюкивая город, погружая его в сон. Но в комнате на чердаке никто не спал. Там, в мерцающем свете догорающей свечи, две женщины сидели друг напротив друга, связанные нитью, которая была прочнее любых цепей, и одна из них, та, что носила корону, даже не подозревала, что уже не принадлежит себе. А та, что скрывала свое лицо под лисьей маской, улыбалась в темноте, понимая, что игра только начинается, и ставки в ней выше, чем она могла себе представить даже в самых смелых своих снах.

Но странное дело — чем глубже Императрица погружалась в зависимость от слов Лисы, чем сильнее прикипала душой к этой прокуренной травами каморке, тем яростнее про-

буждался в ней иной голод, темный, плотский, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к возвышенным беседам о судьбах империи и смысле бытия. Словно в ее душе открылся некий шлюз, который долгие годы держали на замке придворный этикет, страх перед молвой и ледяная маска величия, и теперь из этого шлюза хлынул бурный, грязный, неконтролируемый поток, сметающий все на своем пути. Началось это почти незаметно, как начинается любая болезнь, которую сперва принимают за легкое недомогание. После одной из ночей, проведенных у Лисы, когда предсказания были особенно туманными и тревожными, а поцелуй в лоб обжег ее сильнее, чем любой поцелуй в губы, Императрица возвращалась во дворец не той дорогой, что обычно. Она приказала кучеру свернуть в узкие улочки Нижнего города, туда, где даже днем царил полумрак, а по ночам загорались масляные фонари у дверей питейных заведений, из которых доносились пьяные песни, женский смех и звон разбиваемых кружек. Она не знала, зачем это делает. Вернее, знала, но не смела признаться даже самой себе. Ей хотелось продолжения. Хотелось того тепла, того огня, что она почувствовала в прикосновении Лисы, но Лиса была недостижима в своей отстраненной, змеиной мудрости, она давала ровно столько, сколько считала нужным, и ни каплей больше. А голод требовал насыщения здесь и сейчас.

Она вышла из экипажа за два квартала до одного из таких

заведений, называвшегося «Три ворона», накинула на голову капюшон простого плаща, который теперь всегда возила с собой, спрятанным под сиденьем, и вошла в прокуренный, шумный зал, где пахло кислым пивом, потом и дешевым табакером. Никто не обратил на нее внимания — в полумраке, освещаемом лишь парой чадающих светильников, она была просто еще одной женщиной, зашедшей согреться и выпить. Она села в углу, заказала кружку эля, к которому едва при-тронулась, и стала смотреть. Смотреть на мужчин, которые сидели за грубо сколоченными столами, играли в кости, спорили о ценах на зерно и лениво поглядывали на служанок, разносящих выпивку. И впервые за долгие годы она смотрела на них не как на подданных, не как на винтики огромной государственной машины, а как на мужчин. Просто мужчин. Из плоти и крови, с грубыми руками, обветренными лицами и глазами, в которых горел простой, животный огонь. И что-то в ней откликнулось на этот огонь, что-то, что она считала давно умершим и похороненным под грузом государственных забот. В тот первый вечер она ни к кому не подошла, просто сидела, пила эль, который показался ей отвратительным после дворцовых вин, и наблюдала, чувствуя, как внутри разгорается странное, пугающее и одновременно манящее любопытство.

Во второй раз она пришла уже смелее. В третий — еще смелее. А на четвертый, когда она снова сидела в углу «Трех

воронов», потягивая все тот же кислый эль, к ней подсел мужчина. Он был немолод, с сединой в висках и глубокими морщинами, прорезавшими обветренное лицо, но в его глазах горел тот самый огонь, который она искала. Он не знал, кто она. Он видел перед собой просто уставшую, красивую женщину с печальными глазами, которая почему-то сидит одна в дешевом кабаке. Он заговорил с ней просто, без подобострастия, рассказал, что он кузнец, что его жена умерла пять лет назад от лихорадки, что он ищет не любви, а просто тепла, просто человеческого присутствия. И Императрица, слушая его грубоватый, но искренний голос, вдруг почувствовала, как внутри что-то разжимается, тает, течет горячей волной. Она позволила ему купить ей еще эля. Позволила положить свою широкую, мозолистую ладонь поверх ее руки. А потом, когда заведение начало пустеть и служанки стали гасить светильники, она позволила ему увести себя в каморку на втором этаже, которую он снимал за несколько медяков в неделю.

Это было совсем не похоже на то, что она испытывала с Лисой. Там была власть, подчинение, тонкая игра ума и воли. Здесь же была чистая, грубая, животная страсть, лишенная всяких оттенков и полутонов. Кузнец не знал, что перед ним Императрица. Он не шептал ей льстивых слов, не боялся ее гнева, не ждал милостей. Он просто брал ее, и она отдавалась, чувствуя, как с каждым грубым прикосновением, с

каждым хриплым вздохом из нее выходит та ледяная пуста, что копилась годами на троне. Утром она ушла, не назвав своего имени, оставив на подушке золотую монету, которую кузнец, проснувшись, наверняка принял за чудо или за плату за услуги, и вернулась во дворец, чувствуя себя одновременно грязной и очищенной, униженной и возвышенной. Ей было мало. Ей было катастрофически, мучительно мало.

Она стала приходить в «Три ворона» снова и снова, но уже не сидела в углу, ожидая, пока кто-то обратит на нее внимание. Она научилась выбирать. Ее взгляд, отточенный годами оценки придворных интриганов и послов враждебных держав, теперь работал иначе. Она смотрела на мужчин и видела их насквозь — их слабости, их желания, их страхи. Она научилась играть на этом, как на музыкальном инструменте. Вторым стал молодой стражник, только что заступивший на службу, полный сил и нерастраченной страсти, но неуверенный в себе, робеющий перед женщинами. Императрица взяла его легко, почти играючи, парой взглядов, парой слов, сказанных в нужный момент нужным тоном. Она стала его первой женщиной, и он боготворил ее, не зная, кто она на самом деле, называл ее «моя госпожа» с таким искренним обожанием, что она едва не рассмеялась ему в лицо. Но и этого оказалось мало. Жажда росла, ширилась, требовала все новой и новой пищи.

Третьим стал заезжий торговец шелком, уверенный в себе, наглый, привыкший покупать все, что видит. С ним она играла в другую игру — притворялась неприступной, холодной, заставляя его добиваться ее, тратить деньги на выпивку и подарки, которые она потом выбрасывала в сточную канаву за углом. Когда он наконец получил желаемое, он был уверен, что покорила ее, что она у его ног. Императрица же, лежа в его объятиях в дешевой комнате постоялого двора, пропахшей плесенью и чужим потом, чувствовала лишь скуку и разочарование, смешанные с тем же неутолимым голодом. Она меняла мужчин, как перчатки, и с каждым разом ее мастерство росло. Она научилась быть разной. С одним — робкой и невинной, почти девочкой, нуждающейся в защите. С другим — властной и требовательной, почти госпожой, но не Императрицей, а той, другой, темной стороной ее души, что рвалась наружу. С третьим — веселой и бесшабашной, готовой на любые безумства. Она стала хамелеоном, зеркалом, отражающим те желания, которые мужчины сами не осмеливались в себе признать. Она стала мастерицей соблазна, и это ремесло, грязное, низкое, запретное, давало ей то, чего не давали ни трон, ни власть, ни даже карты Лисы.

Оно давало ей ощущение контроля. Потому что там, в этих прокуренных кабаках, на этих продавленных кроватях, пахнущих чужими телами, она снова была властна. Она решала, кто будет с ней этой ночью, она решала, как долго это

продлится, она решала, когда исчезнуть, не оставив следа. Мужчины были ее игрушками, ее марионетками, и она держала за ниточки с тем же холодным расчетом, с каким управляла империей. Но была одна загвоздка, одно крошечное, но болезненное несоответствие, которое не давало ей покоя даже в минуты самого бурного плотского наслаждения. Все эти мужчины, все эти тела, все эти хриплые стоны и жаркие объятия не могли дать ей того, что давала одна лишь Лиса. Они утоляли голод плоти, но не голод души. Они наполняли ее на краткий миг, а потом оставляли еще более опустошенной, чем прежде. И она возвращалась на чердак снова и снова, садилась в потертое кресло, смотрела в спокойные, всезнающие глаза гадалки и понимала — все это, все эти мужчины, все эти ночи в кабаках, все это лишь жалкая попытка убежать от самой себя. От той правды, которую Лиса вложила в нее в тот первый вечер, когда перевернула карту Отшельника и сказала, что величие — это мираж, а на вершине остается лишь ледяной ветер одиночества.

И Лиса знала. Лиса знала все. Она видела это в картах, которые раскладывала каждое утро, видела в той грязи, что налипла на подол плаща Императрицы, видела в ее глазах, которые теперь горели не только голодом по предсказаниям, но и чем-то иным, лихорадочным, болезненным, почти безумным. Но Лиса молчала. Она не осуждала и не поощряла. Она просто смотрела, ждала и понимала, что эта новая

грань падения Императрицы — лишь еще один виток той спирали, что ведет ее прямоком в руки той, что скрывается под лисьей маской. И когда наступит нужный момент, Лиса будет готова. Она возьмет эту изломанную, истерзанную собственными желаниями душу и вылепит из нее то, что почитает нужным. А пока она просто наблюдала, как Императрица, великая правительница, мастерица соблазнения и рабыня собственных страстей, все глубже погружается в трясину, из которой нет выхода. Вернее, выход есть, но он один, и ведет он только к Лисе.

И чем дальше заходила эта тайная, ночная жизнь, тем меньше в Императрице оставалось от той женщины, которую знал двор, знала империя, знали летописи. Словно плотина, сдерживавшая долгие годы целое море запретных желаний и подавленных инстинктов, рухнула окончательно, и теперь бурный поток нес ее, беспомощную и счастливую в своей беспомощности, к каким-то новым, неведомым берегам. Она начала позволять себе то, что раньше показалось бы ей немыслимым, чудовищным, невозможным для той, чей портрет чеканят на монетах и чье имя произносят с трепетом в самых отдаленных уголках континента. Все началось с одежды. Вернее, с ее отсутствия. Однажды вечером, собираясь в очередной поход по злачным местам Нижнего города, она достала из потайного ящика комода, спрятанного за гобеленами в ее личных покоях, юбку, которую сама же тай-

ком купила у уличной торговли несколько дней назад. Юбка была вызывающе, неприлично короткой, из дешевой черной ткани, едва прикрывающей верхнюю часть бедер. Императрица надела ее, повертелась перед высоким зеркалом в золоченой раме, которое отражало обычно величественную фигуру в тяжелых парчовых платьях, и не узнала себя. Из зеркала на нее смотрела чужая женщина — с горящими глазами, с голыми коленями, с той опасной, хищной грацией, которая появляется у тех, кто перешагнул через стыд и уже не может остановиться.

Она вышла в город в этой юбке, накинув сверху все тот же неприметный плащ, но теперь под плащом скрывалось нечто гораздо более взрывоопасное, чем простое крестьянское платье. В «Трех воронах», а потом и в других заведениях, куда она стала заходить, меняя их, как меняла мужчин, чтобы не примелькаться, она уже не сидела скромно в углу. Она садилась так, чтобы юбка задиралась еще выше, открывая глазам край чулок — простых, черных, купленных там же, у уличной торговли, а не тончайших шелковых, что привозили ей из-за моря. Она ловила на себе взгляды мужчин, тяжелые, маслянистые, полные животного желания, и чувствовала, как внутри разливается горячая, пьянящая волна власти иного рода. Не той власти, что дается короной, а той, что дает женское тело, выставленное напоказ, доступное и одновременно недоступное, манящее и ускользающее. Она

научилась играть с этими взглядами. Чуть наклонялась вперед, делая вид, что поправляет чулок, и юбка задиралась еще выше, открывая полоску обнаженного бедра, бледного в полумраке кабака, но такого манящего, что мужчины за соседними столами давились элем. Она почти снимала колготки, медленно, мучительно медленно скатывая их вниз по ноге, а потом, заметив, что кто-то смотрит слишком пристально, с деланным смущением одергивала юбку и отворачивалась, оставляя зрителя в мучительном недоумении и разогретом до предела желании.

С грудью было то же самое. Она перестала носить корсеты, которые годами стягивали ее тело в жесткий, величественный силуэт, приличествующий правительнице. Теперь под простым платьем или блузой, купленной за бесценок, на ней часто не было ничего, кроме собственной кожи. Она наклонялась над столом, делая вид, что рассматривает карты, разложенные кем-то из завсегдатаев, и ткань натягивалась, обрисовывая форму груди, а если повезет и вырез был достаточно глубоким, то и открывая взгляду тень ложбинки, манящую и запретную. Она почти показывала грудь, но никогда не показывала до конца, останавливаясь в том самом последнем, самом сладком мгновении, когда мужское воображение уже дорисовывает остальное, но глаза еще не получили полной картины. Это была пытка, изощренная, извращенная, и она наслаждалась ею, наслаждалась той властью,

которую давало ей это «почти». Почти показала, почти сняла, почти позволила. Это «почти» сводило мужчин с ума, заставляло их терять голову, совершать глупости, драться из-за нее, тратить последние медяки на выпивку, чтобы только привлечь ее внимание. А она смотрела на все это с холодной, отстраненной усмешкой, которая так пугала ее придворных, но здесь, в кабацком полумраке, выглядела лишь частью ее загадочного, опасного очарования.

И вместе с одеждой менялось и ее тело. Годы строгих диет, предписанных придворными лекарями, годы воздержания и умеренности, приличествующей императорскому сану, рухнули под натиском того же бурного потока, что смыл и все остальные запреты. Она начала есть. Много, жадно, с каким-то животным наслаждением, которого никогда раньше не испытывала. В дворцовой кухне только диву давались — куда деваются те подносы с жареным мясом, пирогами, сладостями и заморскими фруктами, что заказываются в императорские покои далеко за полночь? А Императрица, запершись в своей спальне, сидела на шелковых простынях и ела руками, пачкая пальцы жиром и ягодным соком, запиная все это терпким красным вином, которое лилось рекой. Она пила так же много, как и ела. Вино, эль, настойки — все шло в ход. И тело ее, освобожденное от тисков этикета и корсетов, начало меняться, наливаясь новой, сочной, земной красотой.

Грудь ее, всегда бывшая предметом гордости, но скрытая под слоями драгоценных тканей, стала больше, тяжелее, налилась той особой, женственной полнотой, которая появляется от сытой, довольной жизни и от вина, выпитого на ночь. Она больше не была похожа на мраморное изваяние богини, холодное и совершенное в своей недостижимости. Теперь это была грудь живой, земной женщины, которая ест, пьет, любит и ненавидит, которая пахнет не благовониями, а теплом собственного разгоряченного тела. Бедра ее раздалились, ляжки стали толстыми, округлыми, но не дряблыми, а упругими, сильными, словно налитыми той самой жизненной силой, которую она так долго в себе подавляла. Когда она шла по улице в своей короткой юбке, эти бедра покачивались с особой, тяжелой грацией, и мужчины провожали ее взглядами, полными уже не просто желания, а какого-то почти-тельного изумления перед этой первобытной, животной женственностью. Она стала не просто красивой — она стала сексуальной в самом прямом, плотском, неприкрытом смысле этого слова. От нее исходил жар, запах, флюиды, которые били по нервам сильнее любого вина. И она знала это. Она видела себя в мутных отражениях окон, в случайных зеркалах, видела эту новую женщину с тяжелой грудью, крутыми бедрами и голодным, ненасытным взглядом, и эта женщина нравилась ей гораздо больше той, прежней, затянутой в парчу и золото.

Но самым страшным, самым опасным в этом превращении было то, что Лиса все видела. И Лиса все понимала. Когда Императрица приходила на чердак после своих ночных походов, от нее все еще пахло элем, табаком и чужими мужскими телами, а под грубым плащом угадывались очертания ее нового, пышного, соблазнительного тела, Лиса не отводила взгляда. Она смотрела на эти изменения с тем же холодным, изучающим интересом, с каким алхимик смотрит на трансмутацию металлов в своем тигле. Императрица менялась, переплавлялась, теряла свою прежнюю форму и обретала новую, и Лиса была свидетельницей и невольной причиной этой трансмутации. Она видела, как та садится в кресло, и юбка задирается, открывая полные, округлые ляжки, обтянутые дешевыми чулками. Видела, как она наклоняется над столом, и грудь, ставшая больше и тяжелее, почти вываливается из выреза простого платья. Видела, как она пьет травяной настой, приготовленный Лисой, и ее полные губы, которыми она только что, возможно, целовала какого-то кузнеца или торговца, обхватывают край глиняной кружки. И в груди Лисы росло странное, темное чувство, которому она сама боялась дать имя. Это не была ревность в обычном понимании. Это было чувство собственника, который видит, как его творение живет своей жизнью, но знает, что в любой момент может дернуть за ниточку и вернуть его обратно.

Императрица же, сидя напротив Лисы в своем новом, пышном, соблазнительном теле, смотрела на нее глазами, полными того же голода, что и прежде, но теперь к этому голоду примешивалось что-то еще. Вызов. Она словно спрашивала Лису без слов: «Видишь? Видишь, какой я стала? Видишь, что я могу? И что ты с этим сделаешь?» Она хотела, чтобы Лиса отреагировала. Чтобы осудила, или одобрила, или хотя бы заметила эти изменения. Но Лиса молчала, и это молчание было страшнее любых слов. Она просто смотрела, и в ее взгляде читалось такое спокойное, такое всеобъемлющее знание, что Императрице становилось не по себе. Она понимала, что все ее попытки убежать, все эти мужчины, все эти короткие юбки и ночные оргии — все это лишь жалкая попытка заглушить тот голос, что звучал в ней с первой встречи на этом чердаке. Голос, который говорил ей, что единственный человек, чье внимание ей по-настоящему нужно, сидит сейчас напротив, перебирая четки из сушеных ягод боярышника, и ждет. Ждет, когда же она, Императрица, мастерица соблазнения и рабыня своих желаний, наконец поймет, что все дороги ведут обратно. Сюда. К Лисе. И когда это понимание наконец обрушится на нее всей своей тяжестью, вот тогда и начнется настоящая игра. А пока она просто сидела, поправляла задравшуюся юбку, чувствовала, как тяжелая грудь наливается теплом под взглядом Лисы, и ждала. Сама не зная чего.

## Глава третья

Священник пришел в город в тот самый час, когда осеннее солнце, низкое и бледное, словно разбавленное водой молоко, едва пробивалось сквозь серую пелену облаков, обещавших скорый дождь. Никто не знал, откуда он явился. Говорили разное: одни — что он пришел пешком из восточных пустынь, где питался акридами и диким медом, другие — что он спустился с гор, где провел сорок лет в пещере, беседуя с ангелами, третьи и вовсе шептались, что он не человек вовсе, а дух, принявший обличье странствующего проповедника. Он был стар, но возраст его казался не числом прожитых лет, а скорее качеством самого бытия — словно он существовал всегда и будет существовать вечно, как камень, как река, как звезды, равнодушно взирающие на людскую суету. Борода его была длинной и совершенно белой, словно выпавший снег, а глаза, глубоко посаженные под кустистыми седыми бровями, горели тем особенным, неземным светом, который бывает только у тех, кто действительно видел нечто, недоступное обычному человеческому взору. Он не носил богатых риз, не имел при себе ни золотых крестов, ни драгоценных мощевиков. Только грубая ряса из некрашеной шерсти, посох из обструганного орешника да кожаная фляга с водой. И этот человек, появившись на рыночной площади, начал проповедовать.

Слухи о нем достигли дворца быстрее, чем обычно доходят слухи, словно сам ветер нес его слова по узким улочкам и широким проспектам, заставляя людей бросать свои дела и идти слушать. Говорили, что он исцеляет одним прикосновением, что изгоняет бесов, что говорит с такой силой и правдой, что даже самые закоренелые грешники падают на колени и рыдают, умоляя о прощении. Говорили, что он смотрит в самую душу и видит там все — каждый тайный помысел, каждое скрытое желание, каждый стыдный поступок, совершенный под покровом ночи. Императрица слышала эти разговоры от своих фрейлин, которые, хихикая и перешептываясь, обсуждали странного проповедника, не подозревая, что их госпожа слушает с гораздо большим вниманием, чем следовало бы. Что-то в этих рассказах задело ее, зацепило, словно рыболовный крючок, попавший в самое сердце. Она, та самая Императрица, которая ночами пропадала в грязных кабаках, задирала короткую юбку, пила дешевое пойло и отдавалась первому встречному, вдруг почувствовала странный, почти забытый укол. Укол совести. Или, может быть, не совести, а чего-то иного, более глубокого, более древнего — тоски по чистоте, которую она давно в себе похоронила.

Она пришла к Лусе в ту же ночь, но пришла другой. Не той походкой, какой обычно входила на чердак — развязной, соблазняющей, полной скрытого вызова. Она вошла тихо, почти крадучись, и в ее глазах, все еще горящих темным

огнем, появилось что-то новое. Растерянность. Она села в кресло, даже не поправив плащ, который упал с ее плеч, открывая простое платье без всяких вызывающих деталей, и долго молчала, глядя на огонь свечи. Лиса, как всегда, не торопила ее. Она сидела напротив, перебирая в пальцах засушенный стебель зверобоя, и ждала. Она знала, что Императрица пришла говорить о священнике. Знала, потому что сама и направила его сюда. Не в буквальном смысле, конечно, — она не посылала гонцов и не плела интриг, чтобы заманить старика в город. Но она знала, что он придет. Знала, когда он появится на рыночной площади. Знала, какие слова он скажет. Потому что все это, от начала и до конца, было частью ее плана. Того самого плана, который созрел в ее голове в ту первую ночь, когда Императрица поцеловала ее, а потом ушла в темноту, чтобы начать свое падение.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.